

Александр Степанович Грин

Дьявол Оранжевых Вод



Александр Грин
Дьявол Оранжевых Вод

«Public Domain»

1913

Грин А. С.

Дьявол Оранжевых Вод / А. С. Грин — «Public Domain», 1913

«Ингер лежал в постели, кашляя более, чем следовало. Его правая рука, бессильно свешенная с кровати, изнуренно шевелила бледными пальцами, в полузакрытых глазах сверкал лихорадочный жар, а под мышкой, достаточно нагретый лампой, торчал максимальный термометр...»

Содержание

Предварительный разговор	5
I. Встреча с дьяволом	7
II. Твердая под ногами земля	9
III. Первое искушение дьявола	11
IV. Второе искушение дьявола	13
V. Третье искушение и пуля – милостыня	17

Александр Степанович Грин

Дьявол Оранжевых Вод

*«Внимай мне, – дьявол мне сказал в полночной тишине, – внимай!
я расскажу тебе о горестной стране...»*

Э. По

Предварительный разговор

Ингер лежал в постели, кашляя более, чем следовало. Его правая рука, бессильно свешенная с кровати, изнуренно шевелила бледными пальцами, в полузакрытых глазах сверкал лихорадочный жар, а под мышкой, достаточно нагретый лампой, торчал максимальный термометр.

Этот, внушающий сострадание, вид заставил рассмеяться вошедшего в комнату сорокалетнего человека. Движения вошедшего были резки, быстры и угловаты; лицо его, бледное и широкое, казалось бы незначительным, если бы не крутой изгиб высоко поставленных, дугообразных бровей. Он был одет в просторный, мешковатый костюм черного цвета и толстые башмаки, а в правой, униженной старинными перстнями руке держал цилиндр.

– Это я, а не доктор, – сказал вошедший, – доктора с этим поездом не было. Так что вы, милый Ингер, можете нагреть термометр в другой раз.

Ингер усиленно заморгал, краснея и шурясь.

– Слушайте, Бангкок, – сказал он, – если вы осмеливаетесь...

– Да, – перебил Бангкок, – я осмелился. Я смотрел в замочную скважину. Я увидел прежде всего свою трубку, исчезнувшую непостижимым для меня образом. Трубка эта торчала у вас в зубах. Не умея курить, вы наполнили комнату дымом, уронили огонь на простыню и прожгли дырку. Дырка эта находится сейчас под мягкой частью вашего тела. Затем вы извлекли маленькое, гнусное, дешевое зеркало и пытались любоваться своим лицом, строя величественные гримасы. Потом вы совершили подлог с термометром и, наконец, услышав скрип двери, раскинулись в позе умирающего гладиатора.

– Если я выздоровею завтра, – с отчаянием сказал Ингер, – меня отошлют в город. Мы очень любим друг друга.

– Да? – Бангкок упорно посмотрел на мальчика, чихнул и высморкался. – Это любопытно, – сказал он. – А где вы думаете жить после свадьбы?

– На Канарских или Молуккских островах.

– Настоящее дачное место, – заметил Бангкок. – Как же вы видите?

– Она подходит к окну.

– Ингер, – сказал Бангкок, – я не спрашиваю тебя о том, целуетесь вы или нет, я не спрашиваю также, съедаешь ли ты все сладкие пирожки, похищаемые для тебя твоей возлюбленной. Я спрашиваю – отдашь ли ты мне, маленький негодяй, трубку?

Ингер сунул руку под одеяло, извлек трубку и молча подал Бангоку.

– За это, – сказал он, – вы мне должны рассказать что-нибудь.

– Вот как! – заметил Бангкок. – Да, – прибавил он, как будто про себя.

– Привычки бандита и Дон Жуана... далеко пойдет мальчик... Рассказать? – медленно переспросил Бангкок. – О чем же хочет слушать сын своей страны? Слушай, я расскажу тебе о перестройке здания морского училища.

– Не хочу, – сказал Ингер.

– О расширении избирательных прав низших сословий...

- Тоже.
- О законе против цыган...
- Еще бы!
- О налоге на роскошь...
- Не хочу.
- О раскопках старинного римского водопровода...

Ингер обиженно замолчал.

– Ну, – посмеиваясь, продолжал Банжок, – что-нибудь о народном быте? О психологии рыжей и пегой лошади, историю уздечки, власть чернозема и деспотизм суглинка; о предродовых болях, ткацком станке и вареном картофеле? Ты вертишь головой? Ты ничего не хочешь об этом знать?

– Да, не хочу, – свирепо отрезал Ингер.

– В такие вот хмурые осенние дни, – сказал Банжок, – и моряки любят болтнуть. Вспомнить о том, что было – приятно мне. О чем же рассказать тебе, странное существо, не интересующееся феминизмом¹ и психологией общества? Чего ты хочешь?

– Я хочу того, что вы видели, – сказал Ингер. – О пропастях, пещерах, вулканах, циклонах, каннибалах... вы сами знаете. Помните, вы рассказывали о неграх, золоте, белой девушке и желтой лихорадке?

– Помню, – перестав улыбаться, сказал Банжок.

– Так вот, в этом же роде.

– В этом же роде! Хорошо, слушай, Ингер: я расскажу тебе о дьяволе Оранжевых Вод.

Глаза Ингера блеснули жадным огнем.

– Это что-нибудь дух захватывающее? – вскричал он.

– Нет, это действительное происшествие, – сказал Банжок.

– А дьявол?

– Слушай и суди сам.

¹ Феминизм – общее название течений в женском движении за равные с мужчинами права.

І. Встреча с дьяволом

– Это было тогда, Ингер, когда я не только еще не командовал яхтой твоего отца, но даже не был моряком по профессии. Молодой, проворный и дерзкий, я смотрел на все дела под солнцем с точки зрения удачи и любопытства.

В 1892 году ехал я из Австралии в Китай на «Кассиопее» Фица и комп. Обладая прямым характером, я на все вопросы помощника капитана заявил сразу, что билета у меня нет. Разговор этот произошел спустя сутки после отплытия «Кассиопеи». До тех пор мне удавалось увильнуть от контроля. Я ехал, разумеется, в третьем классе. Разговор произошел вечером; зная, что меня ссадят в ближайшем порту, я перестал думать об этом, отошел к борту и закурил, рассматривая звездное небо.

Пока я стоял, размышляя, украсть ли мне бриллиантовые глаза Будды в Богоре, сделаться шулером или поступить в волонтеры,² – человек, склонившийся через борт на некотором от меня расстоянии, выпрямился и подошел ко мне, говоря:

– Что же нам делать?

Не отвечая, я пристально осмотрел его с головы до ног, чтобы знать, с кем имею дело. Но в этот раз мои наблюдательность и опыт дали осечку: я, как был, так и остался в недоумении относительно личности незнакомца. Он был одет в грязнейший пиджачный костюм; вместо жилетки пестрела ситцевая рубаха, на ногах были высокие сапоги, а русые, цвета подгнившей пеньки, волосы прикрывала черная фетровая шляпа. Еще следует упомянуть, что ситцевая рубашка, выпущенная поверх брюк, была подпоясана шнурком с малиновыми кистями. Исхудалое, скуластое лицо этого человека, вздернутый, усеянный веснушками, нос, редкая бороденка, усики, глубоко запавшие бесцветные глаза – производили неизгладимое впечатление. Длинные, лоснящиеся волосы его, кое-как подстриженные сзади ушей, лежали веером на воротнике пиджака. Незнакомец был высок, тощ, сутул и обладал пронзительным голосом.

– Что делать вам? – сказал я. – По всей вероятности, вам это известно лучше, чем мне. А относительно себя я придумал что-нибудь.

– Нет, – торопливо заговорил он, жестикулируя и назойливо улыбаясь, – вы, вероятно, не поняли; я хочу сказать, что я тоже безбилетный, что мы, так сказать, товарищи. Вот я и предлагаю вам коллективно обсудить положение. Я, позвольте представиться, русский, Иван Баранов, эмигрант политический.

– Очень хорошо, – сказал я, – мое имя Бангок, я – никто.

Он смигнул, приняв мой ответ за шутку, и рассмеялся.

– Нас высадят? – спросил, помолчав, Баранов.

– Конечно.

– Где?

– В первом порту.

Он замолчал; я не поддерживал разговор, и мы разошлись, пожелав друг другу спокойной ночи. Я лег на товарных ящиках; у меня было спокойное, ровное и бодрое настроение; я знал, что рано или поздно жизнь попадет в мои цепкие лапы и я выжму из нее все, что смогу. Я заснул. Меня разбудило прикосновение к голове. – Подите к черту! – закричал спросонок. Кто-то сел возле меня на ящик, тяжело вздохнул и окончательно разбудил меня; я поднял голову.

В глубине океана блеснул слабый утренний свет, через несколько минут должно было взойти солнце. Раздосадованный, я грубо спросил:

– Что нужно?

² Волонтер – доброволец, лицо, добровольно поступившее на военную службу.

– Послушайте... не сердитесь, – тихо заговорил Баранов, – мне стало тяжело, страшно, я не мог спать... потребность поговорить...

Он курил папиросу. Я с изумлением посмотрел на него. Лицо Баранова подергивалось, голос срывался, руки дрожали...

– Вы больны? – спросил я.

– Нет... то есть... это странное состояние. Сейчас мне захотелось подойти к борту и прыгнуть вниз.

– Почему?

– Слушайте, – быстро заговорил он, – разве вы не чувствуете? Вы плывете куда-то на большом, чужом пароходе, по чужому морю, кругом ночь, тишина, звезды, все спят. Понимаете? Человек трагически одинок. Никому нет ни до кого дела. Каждый занят своим. Сложная, огромная, таинственная, нелепая и жестокая жизнь тянет вас – куда? Во имя чего? Для какой цели? Я это почувствовал сейчас в тишине спящего парохода. Зачем я? Кто я? Зачем жить?

Я слушал, совершенно не понимая, что нужно от меня этому человеку. Он же продолжал говорить, закуривая все новые и новые папиросы, – о человечестве, борьбе классов, идеализме, духе и материи, о религии и машинах, все в том же убийственно безнадежном тоне, и я заметил, что все его разглагольствования лишены центра, основной идеи и убеждения. Он говорил, как бы наслаждаясь звуками собственного голоса; смысл его речи можно было уложить в трех словах: уныние, недоумение, трепет. Равнодушный вначале, я слушал, изредка лишь роняя: «да», «нет», «возможно». Горячность Баранова даже рассмешила меня. Потом я испытал особый род нетерпения, выражавшегося в желании свистнуть, ударить кого-нибудь по уху или закричать; затем мне без всякого к тому повода стало грустно, и, наконец, заныло в спине. Я слушал, не будучи в силах прервать странное оцепенение, похожее на дремоту, навеваемую вампиром, дремоту сладкую и противную, как запах дурмана.

Баранов замолчал. Последние слова его были: – Да, кисло, противно все, ходишь как в воду опущенный.

Он встал. Я с ужасом ожидал продолжения.

– Мы поговорим еще, – в виде утешения произнес он, взял мою руку и вяло пожал ее. Я притворился уснувшим. Он ушел, а над горизонтом, вызолотив пароход и водяную рябь, сверкнул диск.

II. Твердая под ногами земля

До высадки я его не видал. В 10 часов утра показался Порт-Мель – место, в котором, как объяснил мне матрос, будут выгружать рельсы для боковой ветки синнигамской дороги.

«Кассиопея» подошла к берегу. На глинистой отмели стояла кучка туземцев и человек пять европейцев. Несколько свай, с наколоченными поверх них мостками, изображали пристань. Далее виднелась свеженаметенная насыпь, груды шпал и несколько дощатых строений.

Я, разумеется, не стал ждать, когда мне, с помощью более или менее грубых приемов, дадут понять, что путешествие мое морским путем кончено. Небрежно заложив большие пальцы своих праздных рук в верхние карманы жилета, я засвистал прощальную песнь моряков: «Будь проклят берег без воды и пищи», – и сошел на твердую землю.

Ты еще молод, Ингер, чтобы знать, что такое чувство оторванности; а я, сойдя на берег, не знаю, в который раз, снова испытал его, оглянувшись на пароход. Он равнодушно дымил трубой. Я чувствовал себя слишком самостоятельным; чужим всему, что окружало меня. Я, так сказать, вышел в тираж. Мне следовало надеяться на собственную ловкость, удачу и сообразительность; денег же у меня было как раз столько, чтобы, сунув руку в карман, соорудить гримасу.

Было чрезвычайно и нестерпимо жарко. Обливаясь потом, я шел медленными шагами вдоль насыпи, решительно ни о чем не думая и проклиная Фультона, изобретателя первого парохода. В это время кто-то окликнул меня. Я обернулся и увидел Баранова.

Не знаю почему, но, осматривая нескладную, долговязую его фигуру, я испытал нечто вроде суеверной тревоги. Он быстро приближался, видимо торопясь и чему-то радуясь, так как тень кислой улыбки мелькала в его нервных глазах, и, нагнав меня, сказал:

– Вы куда?

– Дальше, – сухо ответил я. – Я ведь еще не в Шанхае.

– Слушайте, – принимая деловой вид, сказал русский, – нужно ведь что-нибудь придумать. Я рад, что нашел вас, – прибавил он, помолчав.

По рельсам, навстречу мне, шел человек в белой шляпе, голый до пояса и черный по-европейски, т. е. цвета жидкого кофе. Я остановил его, спрашивая, когда придет следующий пароход.

Человек, тщательно осмотрев меня, сказал несколько безутешных фраз. Пароход может прийти, а может и не прийти. Если же это случится, то не ранее, как через неделю. Путь еще не готов, хотя уже ставят на линию паровозы. Но мы, если хотим, можем пройти пешком пятьдесят верст до строящегося через реку железнодорожного моста, а там, сколотив плот, спуститься вниз до города Сан-Риоля; в устье заходят пароходы по расписанию.

Мы постояли еще друг против друга, затем человек в белой шляпе кивнул головой и продолжал свой путь, не оглядываясь.

Я размышлял. Человек этот был так называемый дорожный мастер, и положение путей сообщения ему было, конечно, известно. Пароход ожидать не следовало. Ходить пешком мне тоже не улыбалось. С другой стороны, моя натура не выносит бездействия, я должен идти, хотя бы это был хорошо известный солдатам шаг на месте, это легче, чем сидеть сложа руки.

Итак, мое решение было составлено. Я посмотрел на Баранова. Рабочая сила двух человек, конечно, лучше одиночных усилий, а здоровые руки могли и очень могли понадобиться для устройства плота. К тому же в странном русском было что-то, возбуждающее глухую жалость. Я сказал, протягивая ему руку:

– Нас столкнул случай; мы, вероятно, понадобится друг другу, и я предлагаю вам совершить путь до Сан-Риоля вдвоем.

Мы стояли в опушке залитого жарой леса. Глубина его перекликалась певучими, резкими и отрывистыми голосами птиц; лицо Баранова, когда он поднял, в ответ на мои слова, голову, стало прислушивающимся, спокойным и безучастным; он смотрел на меня так, как будто мои слова навеяли на него скуку.

– Слушайте, – сказал он изменившимся, глухим голосом. Сняв шляпу, Баранов провел рукою по волосам, потупился и продолжал: – А я вам сделаю предложение иное.

Я молчал, ожидая, что он скажет.

III. Первое искушение дьявола

– Знаете, – начал русский, неопределенно улыбаясь в пространство, – я, пока вы говорили с туземцем, думал о следующем. В нашей стране, когда, например, политические преступники требуют каких-нибудь законных уступок со стороны тюремной администрации, а администрация этого исполнить не хочет, – объявляется так называемая голодовка. Люди отказываются принимать пищу, угрожая своей собственной голодной смертью. Администрации остается или уступить, или смотреть, как человек медленно умирает.

Об этом странном способе борьбы я действительно читал и слышал; поэтому, кивнув головой, сделал Баранову знак, что жду продолжения, хотя, клянусь ушами и подбородком, я не понимал, к чему клонит русский.

– Теперь, – он потер руки, как бы говоря перед аудиторией, – я обращаюсь к нашему положению и сравню жизнь с тюрьмой, а нас – с узниками.

Мы – арестанты жизни. Я – заезженный, разбитый интеллигент, оторванный от моей милой родины, человек без будущего, без денег, без привязанности, человек, не знающий, зачем он живет. А я хотел бы знать это. Я арестант и вы – тоже. Вы – бродяга, пасынок жизни. Она будет вас манить лживыми обещаниями, россыпями чужих богатств, красивой любовью, смелым размахом фантазии, всем тем, чем манит тюремное окно, обращенное к солнечной стороне и морю. Но это обман. У вас, как у всякого пролетария, один шанс «за» из многих миллионов «против», так как мир кишит пролетариями. Разве вы не чувствуете, что наше теперешнее положение с особенной болью звенит цепями, которыми мы скованы от рождения? Нас выбросили, как щенят, только потому, что у нас нет денег. Мы блуждаем в незнакомой стране. Жизнь хочет заставить нас сделать тысячи усилий: идти пешком, потом искать лодку, быть может, вязать плот, голодать, мокнуть под дождем, мучиться – и все затем, чтобы, приехав, куда нам хочется, спросить себя: «Да что же нас здесь ждало такое?» Вы, человек старой культурной расы, меня поймете. Мы – люди, люди от головы до ног, со всеми прирожденными человеку правами на жизнь, здоровье, любовь и пищу. А у нас – ничего, потому что мы – арестанты жизни. И вот здесь, под открытым небом, на опушке этого сказочно прелестного леса, в стенах этой роскошной тюрьмы, я предлагаю вам объявить голодовку – жизни. Мы ляжем, не тронемся с места и – будь что будет.

Я охотно постучал бы пальцем по его лбу, но в лице русского не было ни безумия, ни иронии. Глубоко запавшими глазами смотрел пытливо на меня Баранов, теребя бородку, и, по-видимому, ждал серьезного с моей стороны ответа.

Заинтересованный, даже взволнованный слегка горячностью его тона и диковинностью этого предложения, я сказал:

– Так, мы будем лежать. А дальше?

– Ничего, – просто, как бы говоря о самых обыкновенных вещах, возразил он. – День будет сменяться ночью, ночь – днем. Мы ослабеем. Болезненные голодные грезы посетят нас. Потом – или чудо, или же...

– Смерть, – сказал я. – Вы предлагаете смерть.

– Да.

Я молчал, обдумывая возможно более резкий, но не обидный ответ. И снова, как ночью на пароходе, когда приходил Баранов, испытал я противное, сладкое, дурманящее ощущение сонной одури и тревоги. Но тотчас же привычные мысли о делах текущего дня взяли верх, и Баранов стал мне противен, как скользкий гриб погребка, когда, протягивая руку за молоком, наталкиваешься пальцами на мокрую гриба шляпку. По-видимому, спутник мой считал меня тем же, чем был сам, – экземпляром редкостной чудаковатой породы людей.

– Вот что, – сказал я, – ложитесь и подышайте. Но я вижу нечто лучшее впереди: дрезину. Видите вы ее? Она стоит в тупике, около семафора. Теперь время отдыха, и на линии никого не видно. Что если мы сядем на дрезину и поедем к реке?

Признаюсь, гордость не позволила мне сделать это одному, оставив русского. Я хотел показать ему, как весело и бойко течет плохая жизнь в хороших руках.

– А относительно того, что вы говорили, – прибавил я, – то знайте, что я, Бангкок, возьму приз.

– А если нет? – оживленный, по-видимому, насмешливым моим тоном, возразил он.

– Только если подохну. Но пока жив... – И я вспомнил, что я действительно жив, а карты у меня в руках все. – Нет, милый, – прибавил я, – вы для меня только химическая реакция. Я начинаю шипеть. Идите.

Вяло улыбаясь, русский пошел за мной. Смазанная блестящая дрезина понравилась мне с первого взгляда. К тому же после сказанного отступать было поздно.

Я взялся за ручки, нажал их и, памятуя, что нужно удирать как можно скорее, вместе с Барановым, сидевшим, опустив голову, с грохотом пролетел по стыкам у семафора, прибавил ходу, а затем наш краденый экипаж, скользя по новеньким рельсам, обогнул закругление.

IV. Второе искушение дьявола

I

Я качал рычаги дрезины с такой яростью, что потерял шляпу. Ее сорвало воздухом, и она, слетев под откос, исчезла. Навстречу нам неслись рельсы, шпалы, синий горизонт лесистых холмов. Баранов встал. С тем выражением тупого равнодушия, какое было характерным для него в моменты, требовавшие наибольших усилий, русский, схватившись за вторую ручку, лицом ко мне, наклонил, как бык, голову и начал работать.

«Парень встряхнулся!» – подумал я. Он обнаружил недюжинную силу. Узловатые пальцы его крепко стискивали деревянный брус рычага. Мы качали с остервенением. Ни слова не было произнесено между нами. Площадка дрезины, дребезжа на стыках рельс, сотрясала все тело. Пот заливал глаза, и я был мокр, как рыба.

Вероятно, мы проехали верст тридцать, так как характер местности изменился на наших глазах несколько раз. Мы мчались теперь в долине, цветущей, как лицо деревенской красавицы, а впереди, разбросанный островами, бежал к нам навстречу дивный лес козерога, полный редких узоров и очертаний.

– Гудок! – сказал русский. Вытирая лицо ладонью, он вопросительно смотрел на меня, прислушиваясь. Я завертел головой, паровоз – спереди или сзади – безразлично – выкидывал нас с колеи. Гудок повторился, эхо пронзительного его крика гулко огласило окрестность. Мы уже проехали в лес; страдая от жары, я вытащил из кармана платок и обвязал голову.

– Если локомотив нас нагоняет, а не встречает, – сказал я, – мы можем еще проехать с версту. Ну-ка, подбавь дров!

И мы начали качать так усердно, что плечам угрожал вывих. Рельсы шли на уклон, потом сделали громадное закругление, и наконец прямой, как игла, путь открыл длинную, правильную аллею леса и насыпи. В конце аллеи, пыхая белыми барашками пара, чернел похожий на дымящуюся грудку углей далекий локомотив.

Мы пролетели мимо карьера, где, копая лопатами, суетились черные землекопы, с удивлением оборачиваясь на нас, и я, бросив качать, сказал:

– Тормоз!

Русский затормозил. Дрезина, заскрипев осью, пробежала еще сажен пятнадцать, остановилась, и мы, соскочив шагах в сорока от локомотива и изумленного лица машиниста, бросились бежать к лесу. Оглядываясь на ходу, я увидел ряд платформ с земляным балластом и тучи пара – поезд дал задний ход. Баранов, тяжело дыша, бежал сзади меня. Очень хорошо понимая, что нам грозит в случае поимки, я не жалел себя. Сырые, дикие заросли, сумрак и раскидистые кроны деревьев теснили нас; мой бег походил на драку в толпе, – невидимые враги били меня по лицу, рукам и всему телу мясистыми, зелеными узлами растительных канатов, острыми, как сабли, листьями и твердыми сучьями. С насыпи донесся заглушенный лесом хор восклицаний; тотчас же, прибавив ногам бодрости, хлопнули выстрелы магазинок, и пули, резко визжа, прорезали над головой листву.

Шатаясь от изнеможения, я остановился. Баранов был тут же; бледный, как стекло, он прислонился плечом к стволу, закрыл глаза и опустил голову. Я сел, потом лег. Голова закружилась; сам я, лес и зелень казались мне огромным волчком, пущенным с убийственной быстротой. Но мы, вероятно, успели забежать далеко, так как полная, хмурая тишина окружала нас. Отлежавшись, я встал.

Баранов сидел у дерева, свертывая еще дрожащими от испуга пальцами папиросу.

– Мы, должно быть, недалеко от реки, – сказал я. – В конце концов, дерзость прошла нам благополучно. Вставайте, надо идти.

Он молча поднялся. По-видимому, даже с его фантастических точек зрения оставаться в лесу было нелепо. Простояв минуту на месте – отчасти для того, чтобы дать себе как следует отчет в происшедшем и в том, что предстоит, отчасти потому, что ноги еще плохо слушались, – я и русский пошли вперед, придерживая вправо, к полотну дороги, чтобы не сбиться, и минут через десять увидели в темных просветах стволов, спутанных кружевами ползучих стеблей, солнечную гряду насыпи.

Сколько мы шли – не помню. Не теряя из виду указывающих путь рельс, я, с Барановым в тылу, двигался механически, без раздражения и нетерпения. Я шел потому, что ничего другого не оставалось. Усталость сделала нас безмолвными; странные, великолепно разодетые птицы пролетали в воздухе, живое кольцо змеи, путаясь в траве, убегало, слышав шум наших шагов; звуки, напоминающие сдавленный вопль, вздохи, глухой свист, отдаленный топот скользили по сторонам, в таинственных углублениях темно-зеленых лесных ниш, а мы, оступелые и разбитые, безучастно подвигались к реке, сухо отмечая утомленным вниманием торжественный, притаившийся праздник жизни лесных существ, полный очарования. Золотые локоны солнца, падая в тенистую глушь, блестели красноватым оттенком, растягивались и холодели – признак близкого вечера.

Время от времени, чувствуя голодный позыв, я курил, но это помогало и плохо и очень сомнительно: глотки дыма усиливали слабость. Ровная, настойчивая мысль о пище преследовала меня; вчерашний день прошел на диете, сегодняшний угрожал тем же. Кроме револьвера, оттягивавшего мой карман, у нас не было никакого оружия; рассчитывать же на удачную охоту с помощью семи пуль – забавно. Я спросил:

– Есть хочется?

– Да, – сказал Баранов, – и это хуже всего. Я обедал третьего дня, но очень легко, по-дамски.

Он остановился, держа руку козырьком у глаз, выражение уверенности блеснуло в его лице.

– Река, Бангкок, – спокойно произнес он. – Это река.

Повеселев, я посмотрел в направлении его взгляда. Мы стояли совсем близко от насыпи; за рельсами, в просветах противоположной стены леса, по-видимому, представлявшего собой лишь узкий мысок, в низком свете заката блестела вода.

Я облегченно вздохнул. Река – это прямой путь к населенным местам, городу, океану и пароходу.

II

Берег был низок, пуст, покрыт высокой травой, песком и раковинами. Посмотрев вниз по течению, я увидел, что лес то подходит к реке, то, втягиваясь полукругом, открывает песчаные мели, лужайки и змеевидные лужи. Дней пять назад кончилась пора ливней, и отяжелевшая влагой, полноводная Адара лениво кружила стрежи, темнея в спокойном блеске тонущими отражениями противоположного обрывистого лесного берега. Белоголовые хищники полоскали крыльями над водой, клюя влагу, и живое серебро рыб трепетало в их клювах, роняя светлые водяные капли.

– Если плыть, – сказал, присев на камень Баранов, – то нужна лодка. Или, как вы говорили, – плот.

Я, думая об этом сам, тщательно осматривал берег. Мой складной нож пригодился бы для постройки детской водяной мельницы, но, даже еще не вынутый, отказывался срубить дерево. Я рассчитывал на выброшенные рекой стволы подмытых и увлеченных течением деревьев, но

их не было видно. Следовало поискать дальше, так как в лесных местностях это все же обычное явление.

Я хотел идти, но не мог: меня мутило от голода. Я мечтал о невозможных вещах – съедобном песке, прутьях из теста, о возможности найти хлеб. Разумеется, это дико. Баранов, посвистывая, жевал стебелек.

И вдруг, как бы согласуясь с нашим плохим настроением, река перестала блестеть. Солнце, готовясь уснуть, куталось в облака; огромные воздушные хризантемы их, налитые красным и розовым светом, причудливо громоздились на горизонте, а цвет воды стал серым и тусклым.

– Через полчаса, – сказал я, – упадет мрак. Позаботимся о ночлеге.

– А о пище? – устало спросил он.

– Обо всем. Собирайте хворост и палите костер, а я попытаю счастья.

Ослабевший, измученный голодом, я имел в виду семь пуль своего револьвера и случайно-неизбежную роковую судьбу какой-нибудь птицы. Баранов, подбирая сухие ветки, направился в одну сторону, я – в другую.

В полутемном, готовом погаснуть, засыпающем лесу я вынул револьвер, осмотрелся и взвел курок. Было тихо; изредка, на фоне синего по-вечернему неба, мелькала тень птицы; невидимый какаду бормотал в глуши, подобно монаху, читающему вечерние молитвы. Я осторожно, стараясь не спугнуть будущих жертв, подвигался среди кустарника. Мне не везло. Ничто живое не улавливали мои глаза; иногда, принимая узлы ветвей или лист странной формы за живое существо, – я останавливался с сильно бьющимся сердцем, протягивал револьвер и, сознав иллюзию, опускал руки. Вдруг я увидел птицу.

Она сидела совсем вблизи меж двух параллельно вытянутых ветвей и, мелодично посвистывая, блестела круглым глазом повернутой боком ко мне головы. Обострившиеся глаза мои довольно хорошо рассмотрели ее. Она была величиной с курицу, грязно-жемчужного цвета, с серыми, переходящими в красное, крыльями и белым султаном на голове. Из хвоста, падая вниз, тянулось изогнутое перо.

Я протянул револьвер, прицелился и, установив мушку, выстрелил. Птица, взлетев, пересела на ветку выше. Волнуясь, я выстрелил второй раз и, опустив дрожащую руку, увидел, как изогнутое перо хвоста, мелькнув в листьях, слетело прочь. Птица, припав к земле, била крыльями; я бросился к ней, но в тот момент, когда мои руки готовились схватить добычу, она, шумно трепыхаясь, взлетела и скрылась.

Пробежав несколько шагов в направлении ее полета, я остановился, заметив белку. Белка, прильнув к стволу, согнулась, готовая взвиться на вершину дерева. Взбешенный ускользнувшей птицей, я стал расстреливать белку, не сходя с места; первая пуля заставила ее сделать растерянный винт кругом ствола, – головой вниз; вторая – винт вверх, и после третьей зверек, подобно стальной пружине, распластав по воздуху хвост, прыгнул на соседнее дерево. Он исчез. Я долго искал его, но ничего не мог рассмотреть.

У меня оставалось две пули. Тратить их я не смел. Они могли пригодиться для гораздо более важного случая, чем беличье фрикасе. Волнение мое и азарт исчезли, как только я осознал это. Мне хотелось упасть на землю и закричать, завывать долгим, протяжным воем. Слезы бешенства подступили к горлу; стиснув в руке револьвер, я пошел к берегу. В проходе между двумя искривленными, как спутанный моток шерсти, высокими кустами я заметил висящие под каждым листом их грушевидные, черные ягоды и взял одну в рот. Было неудержимое желание проглотить эту штуку, не жуя; однако, боясь отравы, я медленно ворочал ягоду языком во рту; горький и затхлый вкус плода заставил выплюнуть эту гадость.

Солнце скрылось; упал мрак. Передо мной, изрезанный черными лапами ветвей, блестел свет костра, разложенного Барановым. Я вышел из леса. По мелким лужам и влажному от росы

глянцу песка тянулись отражения пламени; на фоне красного, колеблющегося огненного венца двигалась черная фигура моего спутника.

– Плохо, – сказал я, подходя к костру, – но делать нечего.

– Да-а... – протянул он, смотря на мои руки. В его лице появилось странное выражение удовлетворения и насмешки; он как будто радовался силе обстоятельств, поддерживающих его холодное отчаяние.

Тоска охватила меня. Я сел; перед лицом ночной реки, пустыни и молчания звездного неба хотелось встать, выпрямиться, поднять голову. Тишина давила меня. Баранов лег, закрыв глаза; свет костра, падая на исхудавшее его лицо, тенями глазных впадин и линий щек заострял черты; человек, лежавший передо мною, напоминал труп.

Я лег тоже, закрыл глаза, испытывая такое ощущение, как будто ухожу в землю, зарываюсь в самые недра ее – и уснул. Меня мучили голодные сны. Я видел пышущие теплом, свежеспеченные хлебы, куски жареного мяса, вазы с фруктами, пироги с дичью; изобильные роскошные закуски и вина. Я с неистовством каннибала поглощал все эти чудеса и не мог насытиться. На рассвете русский и я проснулись, стуча зубами от холода.

Костер потух. В сером песке слабо дымились черные головни. Белая от кисеи испарений река медленно кружила стрежи, а за войском утренних облаков разгорался бледный огонь протирающего глаза солнца.

Я вскочил, переминаясь с ноги на ногу и размахивая руками, чтобы согреться. Русский, полулежа, сказал:

– Мы пропадем...

– Это неизвестно, – возразил я.

– Проклятый инстинкт жизни, – продолжал он, и я, внимательно посмотрев на него, видел лицо совершенно растерявшегося, близкого к иступлению человека. Он был даже не бледен, а иссиня-сер; широко раскрытые глаза нервно блестели. – Да, умереть... и нужно... а начинаешь страдать, и тело бунтует. Верите вы в бога? – неожиданно спросил он.

– Да, бога я признаю.

– Я – нет, – сказал русский. – Но мне, понимаете – мне нужно, чтобы был кто-нибудь выше, разумнее, сильнее и добрее меня. Я готов молиться... кому? Не знаю. Не о хлебе. Нет. О возвращении сил, о том, чтобы жизнь стала послушной... а вы?

Я удивлялся его способности говорить сразу все, что придет в голову. Мне было неловко. Я ожидал чего-нибудь вроде вчерашнего – этого своеобразного душевного обнажения, к которому сам не склонен. Так и вышло.

– Слушайте, – сказал русский, без улыбки, по-видимому, вполне проникнутый настроением, овладевшим им. – Нам будет, может быть, легче и веселее... Давайте молиться – без жестов, слов и поклонов. В крайнем случае – самовнушением...

– Оставьте, – перебил я. – Вы, неверующий, – молитесь, можете разбить себе лоб. А я, верующий, не стану. Надо уважать бога. Нельзя лезть к нему с видом побитой собаки лишь тогда, когда вас приперло к стене. Это смахивает на племянника, вспоминающего о богатом дяде только потому, что племянничек подмахнул фальшивый вексель. Ему также, наверное, неприятно видеть свое создание отупевшим от страха. Отношения мои к этим вещам расходятся с вашими; потому, дорогой мой, собирайте руки и ноги и... попытаемся закусить.

Он задумался; потом рассмеялся. Мы пошли рядом, и я заметил, что он искоса поглядывает на меня, как бы стараясь понять нечто – так же, как, в свою очередь, я думал о складе его души – нелепой и женственной.

У. Третье искушение и пуля – милостыня

І

Походкой и движениями мы, вероятно, напоминали подгулявших мастеровых. Но нам было далеко не до смеха. Мы шли по берегу у воды. Я размышлял о необходимости есть, только это и было у меня в голове. Удрученный вид Баранова действовал мне на нервы. Я нарочно опередил его, чтобы не видеть растрепанного, волосатого своего спутника.

Миновав песчаные углубления берега, полные мутной воды, мы продолжали идти лесом. Он тянулся у самой воды и был сравнительно редок. Электрический удар внезапной надежды поразил меня; я согнулся, смотря исподлобья вверх, на дерево, с которого в меня полетели обломки сучьев и, решительно вынув револьвер, подошел к стволу, а Баранову сделал знак остановиться и не мешать.

На дереве, болтая хвостом, гримасничая, кокетничая и раздувая щеки, сидела порядочная обезьяна, швыряя в нас всякой дрянью. Я прицелился. Обезьяна, думая, что с ней шутят, испустила пронзительное ворчание, перепоясала ветку, на которой сидела, хвостом и бросилась головой вниз, раскачиваясь, подобно акробату перед трапеционным полетом. Я выстрелил и попал ей в лоб, хвост развязался, и мохнатое тело с красным задом полетело к моим ногам.

Я подошел к ней, опустил на корточки, раскрыл складным ножом стиснутые зубы животного и, запустив руку в защечные мешки, вытащил горсть плохо пережеванной ореховой каши. Это было проглочено мной тут же, без размышления. Подняв голову, я увидел нагнувшегося Баранова; радость и голодная тоска светились в его покрасневшем от волнения и нервного смеха лице. Он хихикал почти истерически, хватая обезьяну за лапы. Вынув платок, я разостлал его на земле, распорол шкуру животного и, торопливо накрошив, как попало, маленькими кусками, еще теплое, красное мясо, сложил его на платок.

Мы ели, ворча от наслаждения и болезненной жадности... Помню, что, торопясь клацать зубами, я укусил себе палец. В это время, озарив нас, нашу трапезу и убитую обезьяну, взошло солнце; жгучий блеск испестрил лес дымными полосами лучей, и начался день. Ликующий набег омытого росой светила полонил землю и сделал ее любовницей, повеселевшей от ласк.

Чувствуя тяжесть в обнаглевшем желудке, я опустил руку с недоеденным куском и увидел, что русский смотрит на меня тяжелым, тупым взглядом обьевшего до отвращения человека. Таким же, вероятно, показался ему и я. Счастливо вздохнув, мы легли, вытянулись и, что называется, занялись усердно пищеварением.

Силы медленно возвращались. Я начинал чувствовать плотность, вес и мускулатуру своего тела. Движения рук и пальцев приобрели живую упругость, ноги как бы очнулись от обморока, каждый орган, так сказать, облегченно вздохнул. И, только теперь, насытившись, стали мы перекидываться лениво-благодущными фразами о напитках и кушаньях.

– Вы любите бифштекс по-татарски? – спросил, ковыряя в зубах, Баранов.

– Что это такое?

– А... то, что мы сейчас ели. Сырое мясо.

– Да. Вкусно. Я люблю, – задумчиво прибавил я, – холодное земляничное желе и пирог с саго.

– А я – курицу с рисом. Жаль, что нечего выпить. Вот наша русская водка... это замечательная вещь.

Я знал чудесные качества этого действительно очаровательного напитка и облизнулся.

– Вставайте, – сказал я. – Мы еще ведь в дороге. – Он поднялся, я тоже; очарованный солнцем лес гудел мириадами лесных жизней, глубокое, синее небо дышало прелестью юного дня, и жить было недурно. Завязав остатки обезьяны в платок, прицепив узел к палке и положив палку на плечо, я быстро пошел вперед, осматривая берег.

Все в жизни пестро, Ингер, как тени листья в горном ключе, полном золотых блесток и разноцветных камней дна; горе и радость, несчастные и счастливые случаи бегут, улыбаясь и хмурясь, подобно шумной толпе, навстречу жадным глазам; истинная мудрость в том, чтобы не удивляться. Не удивлялся и я, когда после нескольких часов трудной лесной дороги увидел в невысоком обрыве берега два покачивающихся на воде ствола. То были гигантские, унесенные разливом, деревья; корни их напоминали спутанные волосы ведьмы.

Работать пришлось главным образом мне. Баранов помогал вяло и несерьезно. Содрав штук сорок длинных полос коры, мы скрепили ими деревья; потом, набросив во всю длину их груды ветвей, иступили и наконец окончательно сломали нож, вырезав два, довольно неуклюжих, шеста. Пользуясь шестами, как рычагами, я и русский столкнули застрявшие в песке концы деревьев на воду, сели и оттолкнулись.

Плот сильно погрузился в воду, но невероятная толщина стволов обеспечивала сухое сиденье. И вот на этом узком, напоминающем затонувший стог сена сооружении мы, усевшись поближе к корням, раскинувшим над водой и в воде огромные свои лапы, тихо поплыли вниз. Сначала, как бы раздумывая, принять нас в свое течение, или нет, река двигала плот у берега; потом, повернувшись на быстром водовороте, плот плавно отошел к середине реки и двинулся по течению, покачиваясь, как спина лошади, идущей шагом.

II

Была ночь, тьма и молчание. Впереди, радуя сердце, опоясали тьму бесчисленные огни – то показался из-за мыса амфитеатр Сан-Риоля – город, битва людей.

Положив шесты, мы стояли плечом к плечу, смотря на приближающийся огненный узор мрака. Я был спокоен и тихо весел, даже раздражение мое против Баранова улеглось, сменившись теплым приятельским чувством – как-никак дорогу мы совершили вместе.

Я положил ему на плечо руку и сказал:

– Кажется, мы у цели. Ну вот, все идет хорошо.

– Мне грустно, – возразил он. – Ах, Бангкок, вы чем-то привязали меня к себе. Город пугает меня. Снова все то же: ночлеги на улицах, поиски куска хлеба, работы, усталость, жизнь впроголодь... одиночество. Как будто не в зачет прошли мои тридцать лет, словно только что начнешь бороться за жизнь... Скучно. Вернемтесь... – тихо прибавил он, – назад, в лес. Люди страшны, человек бесчеловечен. Бесчисленные, жестокие шутники злой жизни ждут нас. Вернемтесь. Купим, или украдем ружья и, при первой возможности, уйдем от людей. В тихом одиночании пройдут года, в памяти изгладятся те времена, когда мы были среди людей, боялись их, любили или ненавидели, и даже лица их забудутся нам. Мы будем всем тем, что окружает нас – травой, деревьями, цветами, зверями. В строгости мудрой природы легко почувствует себя освобожденная от людей душа, и небо благословит нас – чистое небо пустыни.

– Опять вы стали ребенком, – сказал я, тронутый его отчаянием. – Я – воин, драчун, человек упорный и петушистый. Нет. У меня руки чешутся. Отравленный воздух города возбуждает меня.

Мы перестали разговаривать, так как из тьмы выдвинулся небольшой остров. Я хотел обогнуть его и уже взялся за шест, чтобы дать плоту нужное направление, но вдруг пришла мне в голову полезная мысль.

– Ведь в городе нам ночевать негде, – сказал я, – высадимся на берег и переночуем.

Русский кивнул головой. Вскоре мы сидели перед костром, жарили на прутьях окорок обезьяны, курили и думали.

III

– Смотрите, – сказал русский, – обратите внимание на воду.

Костер, для которого мы не пожалели хвороста, далеко освещая реку, пылал, как горящий амбар. Красная, оранжевого цвета, вода окружала берег, свет костра, путаясь в полосах струй, чертил в них карминным и синим золотом переливающиеся, изменчивые узоры.

– Да, красиво, – сказал я.

– Не кажется ли вам, – заговорил русский, смотря на воду, – что я скоро уйду?

– Куда? – хладнокровно, привыкнув уже к странностям своего спутника, спросил я.

Он пристально посмотрел на меня, потом, закрыв глаза, продолжал:

– Мне кажется, что я не существую. Я, может быть – всего-навсего лишь сплетение теней и света этой стелющейся перед вами призрачно-красной водяной глади.

– Что вы хотите сказать этим?

– Дайте на минуту револьвер, – медленно произнес он.

Пожав плечами, я вынул из кармана оружие и подал ему. Оставалась всего лишь одна пуля, я вспомнил об этом, далекий от всякого подозрения, случайно.

Баранов, приставив дуло к виску и продолжая сидеть, отвернулся. Я увидел его затылок, внезапно задрожавшие плечи и, оцепенев, понял, в чем дело. Произошло это так неожиданно, что я несколько раз открывал рот, прежде чем крикнул:

– Что с вами?

– Устал я... – нагибаясь к земле, сказал он. – Все пустяки.

Закрыв лицо руками, я ожидал выстрела.

– Не могу, – с бешенством крикнул Баранов, хватая меня за руки, – лучше вы... пожалуйста!

Я долго смотрел в помертвевшее его лицо, обдумывая эту слишком серьезную просьбу и... Ингер... нашел, что так действительно для него лучше.

Мы подошли к обрыву. Я вел его за руку. И здесь, нащупав дулом мягкую кожу его лба, я, отвернувшись, исполнил то, о чем просил меня спутник, уставший идти.

Выстрел показался мне оглушительным. Тело русского, согнувшись, упало в воду и, шевеля освещенными костром бледными кистями рук, скрылось в глубине струй. Но долго еще казалось мне, стоящему с опущенной головой, что из красной, переливчатой, вспыхивающей отражениями огня ряби смотрит, успокоенно улыбаясь, его лицо.

* * *

Через два дня я поступил матросом на «Южный Крест» и поплыл в Шанхай.

Интересно, интересно жить, Ингер. Сколько страха и красоты! А от смеха иногда поми-раешь! Плакать же – стыдно.

А трубка, мой дорогой, потухла...